



От автора
бестселера
«Ваня и
исчезнувший»

Галина
Щербачкова

Кто из вас генерал,
девочки?

- [Галина Щербакова](#)

-



Галина Щербакова

Причуда жизни

Время Горбачева и до него...

У меня насчет того, чтоб представить невозможное, – полный порядок. Я, когда еду, иду или что без ума делаю, я вижу черт знает что. Бабушка моя, покойница, когда я еще маленькая была, в таких случаях, когда я смотрела в одну точку и вся была как в ступоре – меня тогда хоть на голову ставь, – говорила: «Опять эта засранка картины рисует». Я думаю, бабушка сама была такая, иначе откуда ей знать про картины? Это я к чему... То, что я сейчас увидела, и не в голове своей дурной, а на самом что ни есть деле, мне мое буйнопомешанное сознание или с тем же эпитетом бессознание – я там знаю что?! – сроду не показывало.

Жизнь оказалась – куда там... А у меня всегда была теория. Я иногда ею делилась. То, что мы, русские, до сих пор живы, – это потому, что у нас, как у нации, хорошее воображение. Какие-нибудь немцы или англичане, дай им наши условия, давным-давно исчезли бы с лица земли. Мы же живые еще пока. Потому что, когда нас убивают из ружья, мы умираем радостно, потому что можем вообразить себе смерть на колу. Легче? Легче. Когда нас в морду и пах забивают сапогами, мы хорошо представляем – можно еще сдирать с человека шкуру. Послойно. И так далее. До бесконечности ужаса. Таким образом, воображающие, мы почти бесстрашны. Ничем нас не проймешь!

Но со мной же определенно что-то случилось. Наверное, скоро умру, если я так удивилась и затряслась, увидев на своем родном черно-белом телевизоре Ее Лицо. Еще до того, как назвали ее по имени и отчеству, я узнала ее... Сразу. Даже не так... Я узнала ее еще до того, как ее показали... Плыл на экране белый теплоход. Нарядные и хорошо покушавшие господа и дамы нашего режима разводили ручонками, изображая восхищение окружающей природой. Природу показывали и нам, зрителям, чтоб мы тоже испытали с ними общую радость красоты, и у меня уже от обилия их природы, их радости и их

красоты стала подниматься по горлу вверх едучая кислота, я такое свойство за собой знаю. Бывает со мной... Но тут пошла камера шарить по лицам, и вдруг у меня все внутри осело, даже не так – все во мне оборвалось и рухнуло, и горло стало пустым, как бамбук, в него просто можно было гудеть, как в сопелку, и я – вот хохма! – гуднула. И сама же подумала: чего это я? Гужу? И тут Ее Лицо. Значит, знал мой личный организм, что что-то сейчас случится. Иначе как объяснить эту пустоту в горле и этот звук из него? Стоит старая дура перед телевизором, в руках у нее тряпка – я чувал хотела сварганить для ненужного барахла, чтоб не валялось где попадя. У меня в тот день был трудовой стахановский подъем. С утра я уже выстирала свое болоньевое пальто. С него стекало теперь в тазик, весело, как с крыши... Ну и вот надумала сшить чувал. В ЛТП это называли бы трудотерапией. По мне – трудоидиотия. Потому как стирать пальто не надо было. Точно. Теперь верх сядет и подкладка будет торчать из рукавов и из-за подола, а чувал с барахлом куда я дену? Где у меня для него место?

Но судьба мне все это устроила, чтоб я вовремя оказалась перед телевизором и чтоб не пропустила, так сказать, момент явления теплохода.

...Мелко-мелко что-то дрожало во мне... И тут всплыло Ее Лицо. Другое Ее Лицо, потому что ведь сколько лет прошло. То лицо, давнее, она уже износила, это было шире, натянутей, определенной, уже постоянное лицо, без фокусов перемен. Привычка же смотреть почти не моргая осталась. И сейчас она придавала глазам какую-то важность, даже знатность: чего, мол, всякому быдлу подмаргивать? Этой вот, что с чувалом, к примеру... Стоит дура и гудит пустым горлом.

Ах, Людка-Людочка-Людмила.

Ну что? Хорошо тебе на том теплоходе? Не дует от воды? Смолоду ты нежная была. Как персик, говорила Вера. Помнишь Веру? А Стюру? А Нонну? Будешь ты помнить уборщиц. Как же!

Ты и меня не помнишь.

А я вот забыть тебя не могу. Ты еще утром только взошла на теплоход в Москве, а я в своей Богом забытой Транделовке вся занялась мелкой дрожью. И пошла шуровать в трудовом порыве, еще ничего не зная и уже зная все.

Неужели ты ничего сейчас не чувствуешь? Меня всю колотит, а тебе как с гуся? А еще говорят – биоэнергия, биоэнергия. Хрен!

Ничего нет... Ничего...

Руки у меня дрожат. Ими мне пробку не снять. Значит, зубами. Все... Легче... Ну вот... Я уже человек... Я могу логично. Ab ovo... Как говорили древние. От яйца, извиняюсь. Еж твою двадцать! Кое-что из наук помню. Дум спиро-сперма, одним словом.

* * *

Я столько в своей жизни про эту Людку думала, как, может, никогда и ни про кого больше... Еще бы. То, что я сейчас сижу в этой задрипанной комнате, из которой вынести уже нечего, и то, что я хорошо так и давно выпиваю, и то, что я одна как перст на этом черно-белом свете, – все это началось с нее, с ласточки моей теплоходной.

Господи! Я же умница была! У меня ниже четверки ни в школе, ни в институте, и не в этом дело – при чем тут отметки, я сама, без них, знаю, что умница, может, даже одаренная (плюсквамперфект, конечно), но была точно! Они ж за мной стаяй ходили, дети... За дураком пойдут? И не малолетки – старшеклассники... Они меня так слушали! О чем я им тогда говорила? Понятия не имею, никаких слов не помню, одно ощущение. Я говорю им: плюсквамперфект – а во мне как что-то открывается настезь. С ума сойти, какое состояние, будто в тебе все города и страны, и все эпохи, и все человеческие мысли, а ты небрежно так, двумя пальчиками достаешь из себя это все детям и отдаешь им насовсем, и не жалко... Нате!

Если эти левобережные или как их там... депутаты добьются, что мы будем выбирать одного, хотя бы из двух, я вычеркну тебя, Миша Сергеевич. За Людку вычеркну. Мы с тобой одно поколение, значит, у нас один счет. Я тебя по этому счету и вычеркну своей слабеющей рукой. Это чистая правда. Слабеющей. У меня вены стали, как телефонный кабель, толстые и черные. Но это уже ерунда. От чего-то надо умирать. Мне, видать, от этого... Но до того – до того – я проголосую против всей этой жизни, против социализма, коммунизма, революции, Ленина, Сталина, Горбачева, Лигачева, Тягькина-

Матькина, против всего народа-идиота, который употребляют всеми способами все, кому не лень...

Трудная дорога к светлому будущему? Да не надо его, люди! Вы к нему на парализованных ногах подползете, а там уже Людка. Там уже полный комплект – мест нет. Ох, Миша, как я на тебя зла, попадись ты мне лет тридцать-сорок тому... Между прочим, мы с тобой запросто могли встретиться... Одними поездами ездили учиться. Я просто раньше выходила – в Никитовке. А Людка, зараза, летала в твои края лечиться. На воды. Ты мог ее и не знать. А мог и знать! Мог! Ты шустрый мальчик. И я беру в расчет этот вариант, что ты мог... Поэтому я и предъявляю тебе счет. А кому еще? Участковому? Хороший мужик, между прочим. Мы с ним на «ты», потому что тоже ровесники и потому что у меня с ним было... И хорошо было, потому как с трезва... Тоже история ничего себе. Можно сказать, почти любовь. Я все думала: вот бы кино снять. Двое пожилых, под пятьдесят, в отношениях официальных скидывают с себя всю-всю амуницию, и начинается у них такой кайф, какого ни у него, ни у нее (про себя ручаюсь) сроду не было, и от этого они просто растерялись, потому что – оказывается! – это дело не просто такое, чтоб перепихнуться, а, можно сказать, самое духовное из всех телесных. Я потом смотрела на своего милиционера, когда он одевался. Мать честная! Он брал свой наган и не мог сообразить, что это... И все его цеплял не на ту сторону... Я за секс, Миша! Если у меня что и было, так это секс с участковым, который приходил, дурачок, со мной бороться. От «гражданка Измайлова» до «Варя, Варенька, Варюха» какой-то час прошел, а это целая эпоха в мироздании, в которой любовь победила не смерть, тоже мне победа! Смерть, если она у нас почти всегда спасение. Любовь тут победила жизнь, которая у нас куда страшнее смерти. Она бумажку с кляузой победила, она наган победила. Участковый мой без всего оказался беленький такой, беленький... Он же, бедняга, ни разу не отдыхал путем, чтоб лечь на берег или там траву – и на@@, пали меня, солнце! До локтя руки аж коричневые и лицо черным пятном... Так смешно! Вроде его из разных комплектов собрали. Вот подумать... С чего мы тогда стали раздеваться? Что я его, соблазнить хотела? А получилось, вроде мы последние люди на последнем, как кто-то сказал, берегу... А может, не вроде, а последние на самом деле? Последние в том смысле, что не за

выгоду, не за деньги, без всякого расчета, а главное – без слов... Вот в этом все: без слов... Слова у нас до важного самого... Я читала эти стишки в молодости на каком-то смотре. По-моему, даже в Колонном зале... Во всяком случае, нас туда очень тщательно отбирали по анкетам. Так я там всю рублила эти слова своими рученьками. Поставленный жест называется. Хочу сиять заставить заново! Ну? Недооценили, заразы... Меня бы за эти самые махающие рученьки в Кремль бы... Ль бы... Очень складненькая могла бы получиться при соответствующем питании Тимошук. Или по-нынешнему Нина Андреева. Можно сказать, стояла на финишной прямой, сигналила лапками – вот она я! Вот! Возьмите меня за рупь двадцать. Ах, идиотка молодая...

* * *

Людочка моя, Люда! Во-первых строках моей истории про тебя скажу, что спали мы с молодым моим мужем на металлической сетке и стояла она у нас, вернее лежала, на деревянных козлах. Сооружение, скажем, не для любви, а исключительно для нежной братской дружбы, но тогда, в середине пятидесятых, дружба у нас котировалась выше. Мы были то поколение, которое коммунальному государственному группенсексу пыталось придать некое даже философское значение. Например, не для того люди женятся. Сравнить – мы работаем не за деньги. Вспомни героев-молодогвардейцев, у них вообще ничего ни разу не было. Во всяком случае, в нашей учительской компании был такой настрой – целомудрие и аскетизм. Для справки могу сказать, что все те семейные пары – я со своим, химичка с физиком, ну и другие – давно разбежались в разные стороны. Но эта пропо... А я не пропо, а про то время, когда мы еще все вместе и лично у нас есть замечательная металлическая сетка, которую мы купили задешево у физика, который, в свою очередь, задешево купил сетку панцирную. Современные могут это не понять по причине полной неосведомленности об истории нашего быта. Откуда им знать, чем отличается панцирная сетка от плоской и каково место этих сеток в определении уровня жизни? А сказать надо так: физик жил лучше, чем мы, у него уже была панцирная сетка. Мы же только стремились к ней,

как к далекому светлому будущему. Я мечтала, что, если мне в конце концов дадут полную ставку, я прежде всего куплю зимнее пальто. В свои двадцать два я ходила в том, какое мне сшили в десятом классе из шинельного материала. На втором месте мечты стояла нормальная кровать, в крайнем случае хотя бы спинки для уже имеющейся сетки, которые можно было купить на барахолке. Конечно, возникала трудность: войдут ли выпуклости нашей сетки во впадины спинок? Не будешь же идти на барахолку с сеткой. Но ведь и не подстругаешь, если что... Металл – будь здоров! Поэтому надо было все тщательно вымерять при помощи циркуля и веревочки.

В то лето директор нашей школы, милейшая толстая тетка – царство ей небесное – в пуховой шали и неременной мужской обуви, которая только и могла вместить красные полированные косточки («ой, девушки, караул, смотрите, что делается, стреляет до самых ушей!» – это когда не было сил и она разувалась), сказала мне: «Варвара Алексеевна! Деточка моя! В этом году у вас должна получиться ставка. Но я вас прошу! Запишитесь в университет марксизма-ленинизма. Я именно на это напирала в районо, хлопоча о вас». Делов! Я легко училась, и мне даже нравилось учиться, конечно, не марксизму-ленинизму – врать не стану, – но можно и ему, тем более за полную ставку, а значит, и за пальто, и спинки для кровати. «Что за вопрос, Марья Ивановна! – ответила я. – Конечно, запишусь».

Мыть окна в учительской накануне первого сентября я шла в приподнятом настроении именно от радостных перспектив. И мы хорошо тогда мыли окна, весело и тщательно. Мой муж носил горячую воду из подвала, физик бритвой отскребывал разные наслоения на стеклах, а женщины тряпками и газетами наводили на них блеск.

Очень хорошо все это помню. Было ощущение приближающейся радости. Где-то завязывалась и шла прямо ко мне. Может, это был эффект вымытого стекла, который исхитрялся отсвечивать радугой: ты его трешь-трешь, а он тебе в благодарность то розовым, то фиолетовым, то синим сиянием, и ты думаешь, Господи, как же красиво, если хорошо вымыто.

Опять же мысль о ставке. Будет! Пальто сошью синее с хлястиком, а карманы чтоб накладные со строчкой, воротник же хорошо бы серый. Синее с серым – благородно... И еще. Выучу наизусть «Цыган» и буду читать на уроке не подглядывая. Хорошо бы

достать муки и поставить тесто на беляши, но тогда нужно доставать и дрожжи. Нет, на это силы тратить не надо, лучше почитаю любимого Паустовского. Моя подруга написала ему письмо, в нем прямо так, без подходов: «Я вас люблю». Написала, села и стала ждать ответа. Экзальтированная дура. Я вас люблю... Мало ли? Мало ли кто кого? На что она рассчитывала? Что старик бросит все и приедет к ней? Подруга говорит: «Хотя бы слово... Лично мне слово его почерком на кусочке бумажки». Ее мама, тоже учительница, сказала мне по секрету, когда никого не было: «Тебе это не понять... У тебя „нет отсутствия мужчины“...» Ночью я лежала на сетке и думала: ну вот у меня есть присутствие мужчины, но что это такое, объяснил бы мне кто?

* * *

Значит, моем мы окна. План у нас такой. После окон идем все к нам. Мы с семьей физика занимаем директорскую квартиру при школе. Раньше так их строили. При школе обязательно директорская квартира. По-моему, хорошо было придумано. Вот у нас там и было по комнате, а в кухне той квартиры жили технички, поэтому кухни как таковой у нас не было, а стояли в прихожей три керогаза, на которых жена физика раз в три дня варила макароны. А потом разжаривала их на сковородке в завтрак, обед и ужин. Технички варили недельные кислые щи на паях, их ведерная зеленая кастрюля всегда стояла на керогазе косо и вполне могла ошпарить кому-нибудь ноги, поэтому мы делали замечания техничкам, а те на нас, интеллигентов, злились, потому что до нас они вообще занимали всю директорскую квартиру и у них был рай. При таком просторе с ними жили и разнообразные мужчины, приходили и жили, и это было по-человечески хорошо, весело. Мужчины были то из домостроителей, то из солдат, то студенты-заочники – народ уже не молодой, но наиболее не заразный в смысле венерическом. Но жизнь ведь у нас неуклонно улучшалась во все времена. Поэтому однажды техничек уплотнили в кухню и всадалили им в соседство учителей. С тех пор пошли керогазы, опасность падения кастрюли и, скажем деликатно, элементы классовой нелюбви. Если они кого терпели, то только меня. Во-первых, я всегда делилась – и солью, и сахаром, и крупой – и замечаний им делала

меньше других, ну, пришли к вам мужики, пришли... Мне-то что? Я, конечно, в душе все это презирала и осуждала, но по отдельности я и Нонну, и Веру, и Стюру любила. Хорошие были тетки, ну живут неправильно, но понять вполне можно: нет у них других интересов. Я по молодости лет в них эти интересы воспитывала: рассказывала разные книжки. То «Повесть о директоре МТС и главном агрономе» Николаевой, то «Бурю» Эренбурга. Как слушали! Рты раскроют, руки плетями бросят и замрут. Так что я у них была любимица. Вот и сейчас, пока все мыли окна, я сбегала, взяла у Стюры большую чугунную сковородку, чтоб нажарить картошки, а Стюра, узнав о мероприятии, полезла под свои ящики, на которых спала, и достала баночку грибов: нате, говорит, попробуйте, вы, говорит, уже и не знаете, что такое соленый по правилам гриб.

Скажу насчет питья. Один смех, сколько мы пили. На семь-восемь человек брали бутылку «три семерки» или кагор. И не только хватало – обязательно оставалось, а женщины просто закатывались от смеха без повода, потому что считали себя вусмерть пьяными.

* * *

...Заносит меня в сторону, заносит... Царство небесное Стюре, она умерла от инсульта в самый пик истории с Людкой, то, что называется – умерла не вовремя. Умерла Стюра, как солдат, на посту, несла два ведра воды на второй этаж, сказала «ах» – Нонна шла следом, несла тряпки и швабры, – тихо так сказала, деликатно, «как не она», объясняла Нонна, потому что в жизни Стюра была человеком громким и грубым; «ах» было из репертуара скорей Веры, третьей их подруги, та была склонна к нежным уменьшительным словам народной речи, она говорила: «Задочек у нее пухленький, как зефир, грудочки, как фарфоровые чашечки, щечки, что твои розы, а глаза голубенькие-голубенькие, как кафель в нашей учительской уборной, просто синь...» Так она описывала Людку, когда та у нас появилась. Ну мы все тогда были в потрясении от Людкиного физического совершенства. Так вот Вера могла бы перед смертью сказать «ах» и приложить руки к сердцу, вывернув локти, чтоб красиво выглядеть... Стюра же должна была уходить с этого света с матом, это к ней

просилось... Но именно Стюра нежно сказала «ах», развела локти и аккуратненько сдвинула колени. А в жизни она всегда садилась широко и колени у нее получались на юго-востоко-западе от плеч. Тут же села на ступеньку и голову свою кудлатую бочком приложила к перилам, просто княжна Тараканова, а не Стюрка-уборщица. Увезли ее в морг, и никто из нас – никто! – не пошел ее хоронить, потому что мы все обмахивали тогда Людку. Разве можно было сравнивать то и это?

* * *

Непонятно говорю, я знаю, потому что я прыгаю с одного на другое. Ну, во-первых, во-вторых и в-третьих, это у нас, у алкоголиков, сплошь и рядом... От «за здоровье» до «за упокой» нам пройти ничего не стоит, это у нас близко. Поэтому я дико извиняюсь и возвращаю вас к мытью окон в учительской накануне первого сентября одна тысяча девятьсот пятьдесят пятого года.

Моем, радуемся и ждем, когда отвалим к нам, где на большой Стюриной сковородке мы нажарим картошки с луком, откроем грибки, почистим селедку, порежем ломтиками домашнее сало от моей мамы, оно, правда, уже чуть лежалое, но есть способ его взбодрить: мелко настругать на ломтики чеснок и положить листочек петрушки для икебаны. Чеснок, между прочим, вообще вещь для вчерашних продуктов незаменимая. Это надо знать.

И тут на самом предвкушении застолья распаивается дверь и возникает наша Марья Ивановна, и вид у нее такой, будто земля лопнула по меридиану, который рядом со школой, часть земли отделилась и ушла в неизвестном направлении, на ушедшей части у нее остались муж, дети, продукты на завтра и весь микрорайон, а школа – тут, но теперь у нас не будет достаточного контингента детей, чтоб быть ей директором, но и районо – что хорошо в этом случае – тоже на отошедшей стороне земли... Ну, одним словом, такие лица я видела пятого марта пятьдесят третьего года... Лицо – как смерть, когда не своя, а чужая, но это еще хуже, потому что потому... Вспомните пятьдесят третий.

– Всем на педсовет! – закричала не своим голосом Марья Ивановна. – Все бросить!

– Война! – жестко сказала наша вожатая Алевтина, и все сразу поверили, а Алевтина посмотрела на нас своими крохотными колючими глазками, открыла рот и втянула нас в свою черную дыру. Это точно, так все и было. Дело в том, что в общем-то наша вожатая славненькая, то, что я сказала о ее глазах, помехой не было. Они у нее были остренькие, горяченькие, сверкающие, притом, что щелочки едва-едва... Глаза были красивые! По-своему... У нее был другой недостаток – щель между зубами. Диастема. Пока Аля говорила, туда-сюда еще ничего. Но не надо забывать – у нее специфическая профессия, ей рот приходилось открывать часто и как следует. Как иначе протрубишь? За дело Ленина-Сталина будьте готовы! Так вот, когда она такое кричала, я лично – я говорила о моем таком свойстве – просто видела, как сбиваются в организованный клин все наши пионеры и школьники и прямехонько клином исчезают в Алиной дыре. Про астрономическую черную дыру я узнала лет через тридцать после той жизни и сразу в нее поверила, потому как тут же вспомнила эти наши пионерские сборы и то, как мы исчезали по команде в никуда. Правда, бывало и так: сообразит Алевтина, что перестаралась в крике, и сомкнет губы, и тогда – я тоже это видела! – возвращается клин, распадается на отдельные дружины и отряды, а потом даже на фигуры и лица. Почему ей никто не предложил вставить в провал нормальный зуб, а то и два? Почему все сносили этот ужас поглощения, тем более что никакой кровожадностью Алевтина не отличалась, не было в ней потребности в заглатывании людей. Наоборот! В простые свои минуты она даже ладошкой прикрывалась, стеснялась изъяна. Но звучал горн, бил барабан, галстучек на груди вожатой начинал подрагивать в такт сбивающемуся от внутреннего духовного оргазма дыханию, и пошло-поехало... За дело Ленина-Сталина...

Вот и сейчас она сказала: «Война», и мы ей поверили! И выстроились в клин.

Сбились мы в кабинете Марьи Ивановны, сердца у нас колотятся – что? что? – а она не может слова сказать – дышит. То есть вся она – поглощение воздуха и возвращение его обратно, и это как бы главное ее предназначение, и не до слов. И от этого нам еще страшнее, потому многое приходит в голову. Что может так человека сбить с ног? Ну про войну я уже сказала и сама решила: не война. В крике, конечно, зайдешься, но и остановишься, нам ли так уж заходиться от войны?

Опять же – Сталин уже умер. Вот это было потрясение так потрясение. Что еще могло быть в этих пределах? Чтоб у человека дыхание свистело?

Марья Ивановна взяла себя наконец в руки, в буквальном смысле схватила себя за плечи, держит их крест-накрест и говорит:

– Нам такая честь... Именно нашей школе выпало... Будет у нас работать в старших классах молодая выпускница из Москвы... Она дочь... – Дальше сиплым и торжественным голосом пошла фамилия. Сегодняшнему населению ничего уже не говорящая, а тогда – вождь, одним словом. Один из портретов.

«Ну и что?» – спросила я. Тоже мне повод для паники. Ну дочь... Ну вождь... Человек же она все-таки... Или? Более того, я, успокоившись, очень обрадовалась. Интересно же! Какая она? И, наверное, мы с ней подружимся, будем вместе ходить на лыжах. Я, значит, так думаю и тут же слышу:

– Варвара Алексеевна! Я именно вас прошу и мужа вашего взять над ней шефство. Вам это будет легче всего...

Мне-то это и так понятно. Я же все это шефство в своей голове мигом прокрутила (лыжи, беляши, походы за подснежниками, спектакль «Молодая гвардия», я – Ульяна, а хорошо бы она – Любка. Какая Любка из Алевтины с этой ее черной дырой, хотя Алевтина за роль держалась зубами (у нее насчет себя были большие заблуждения). И я тогда (так мне, сволочи, и надо за это, что со мной потом случилось) быстреньким своим молоденьким умом просчитала: дочери вождя Алевтина не поперечит. Отдаст роль как миленькая. Вот что в моей дурной голове крутилось, и я не могла понять, почему наша Марья стоит в позе человека на броненосце, указывающем путь. Оказывается! Оказывается, «наша дочь» будет жить в гостинице, которая стоит у нас просто под окнами. Школа и гостиница – это ножки буквы «п», а перекладинка – гостиничный ресторан, кафе и кулинария. В общем, у нас с «Центральной» один внутренний двор. Директорская квартира, в которой мы живем, имеет в этот двор выход, но мы им не пользуемся, мы выходим через школьные коридоры, через главное парадное. Гостиничный выход у нас действует только по праздникам, когда главный закрыт. Тогда в нашей квартире остро пахнет отходами ресторана: вонючие бачки стоят прямо возле нашей двери. Я сейчас подумала: ну ни разу! Ни разу не возникло тогда хотя

бы ощущение неудобства жизни возле помойки. Более того. И я с моим, и физик со своей были просто счастливыми. Жить в школе! Такая удача, как говорят теперь, пруха. Стоит жильё копейки, а сколько удобств!

– Хорошо вам, – с завистью говорила Алевтина. – Если б я была замужем, мне бы вашу комнату отдали. Я ведь в школе, считай, днюю и ночую... Но одной целую комнату жирно, это я понимаю, это государство разбросается.

Иногда после поздних мероприятий Алевтина оставалась у нас ночевать. Мы стелили ей кожух на полу под батареей, и сколько бы раз это ни случалось, Алевтина повторяла: «Господи, неужели и у меня когда-нибудь будет своя батарея?»

Когда мы восприняли и пережили главную информацию, Марья Ивановна выдала и побочную. «Для дочери» отнимаются те самые мои часы, на которые – раскатала дура губки! – я собиралась купить пальто и спинки для кровати. Более того! Мой класс, где я работала классной руководительницей, тоже отдавали ей – как сплоченный, идейный, дисциплинированный, – а я должна была оставаться в нем, так сказать, тайным надзирателем, чтоб «помочь», «облегчить» работу молодому специалисту. К слову, в той денежной ситуации пятьдесят рублей за классное руководство (то есть пять по-сегодняшнему) в нашем бюджете роль играли. Теперь же я их лишалась, что не сопровождалось никакими там «ах!», «извините!». Более того, на нашу же семью было возложено «любить дочь», чтоб она, не дай бог, не почувствовала одиночества и тоски без родительского дома. И вот же абсурд, идиотия, все, как один, стали смотреть на меня, ободранную финансово, как на удачницу, которой так в жизни подфартило, которую судьба, можно сказать, вознесла на ветку, ранее моей природой недостижимую, и теперь я сижу на ней выше всех, и даже Марья Ивановна смотрит на меня с восхищением... Ну при чем тут могли быть деньги? Будешь ли их считать или там плакать при таком раскладе фортуны? Стоило посмотреть на жалобные глаза Алевтины, полные такой невыразимой зависти (батарея плюс это), что надо было быть человеком очень плохим, а я была девочкой хорошей, чтоб допустить в голову мысль о спинках для кровати.

В общем, мы всей командой были брошены на мытье нашего черного хода, а во дворе гостиницы уже всюду шуровал каток,

покрывая землю жирным ровненьким асфальтом. Помойка исчезла за один вечер.

* * *

Описать Людку невозможно. Нет у меня слов. Надо взять за основу характеристику Веры-уборщицы и от этого идти. Скажу так... Мы все – школа, парты, доска, глобусы, учителя, дети – были сделаны из элементов таблицы Менделеева, Людка же была эфирного состава. Пальчики там, ноготочки, голосок, волосики – все очень слабо материальное. Сплошная воздушная организация. Во-первых, оказывается, она в нашем городе когда-то гостила, в голубом детстве, у бабушки. И город на нее произвел... Во-вторых, она поклялась еще Иосифу Виссарионовичу, что начнет работать исключительно в глубинке, среди простых, как мычание, людей. В-третьих, она жаждала самостоятельности и хотела ходить в жизни пешком, как Надежда Константиновна Крупская.

* * *

Свой пеший переход из гостиницы, по свежееасфальтированному двору, прямо в нашу директорскую квартиру она совершала на высоких шпильках, в связи с чем на щелястый пол нашей прихожей была брошена малиновая дорожка, а на закаканную мухами лампу навешен белоснежный плафон. Беда была с уборщицами. Каждый раз они толпились в дверях кухни, наблюдая этот восход нашего солнца, и, хоть кланялись они ей низко, сопроводить это причесыванием или умыванием они не то что не считали нужным, просто не брали лишнее в голову. Стояли косматые, пахнущие луком, отекающие, пастозные, но очень приветливые тетki и низко, в пояс, выдыхали:

– Доброе утречко вам, Людмилочка Васильевна.

Людка делала им эфирной ручкой, а они потом долго обсуждали, как она, сердечная, только держится на такой тонюсенькой обуви? Вот что значит воздушность естества, поставь, к примеру, на такие туфли ту же Алевтину?

В гостинице Людка жила в обособленном угловом люксе. К ней была приставлена горничная, официантка, шофер и какие-то разнообразные рыла из охраны.

Лыжи, подснежники и «Молодая гвардия» – все, что я намечтала, оказалось, что называется, не в ту степь, потому что «наша дочь» не любила холодную погоду, не любила гулять, не любила «дешевые театральные мероприятия» (это наш спектакль «Молодая гвардия», который тут же после ее слов кончился, не начавшись); она жаждала нечеловеческой близости с учениками, и Марья Ивановна вместе с районо хорошо проредили те классы, которые к ней попали. Но, как потом выяснилось, сделали это некачественно. Во всяком случае, мой уже бывший класс, хороший во всех отношениях (так нам казалось), был явно изучен бегло. «Ну кто там у вас, Варвара Алексеевна? Да у вас такие все славные ребята!» Последний раз такой класс на памяти Марьи Ивановны шагнул в сорок первом прямо из десятого в войну, и ни одного мальчика – ни одного! – не осталось в живых. Я не знаю, как теперь – я от жизни отстала, – а в то время лучшей характеристики быть не могло. Высокая смертность у нас всегда в цене.

Володя Невзоров происходил из семьи потомственных пролетариев. Сказать, что он был красивый, – ничего не сказать. Он был картинный парень. Глаз не отвести. Теперь я могу сказать, теперь такое говорится: он был жутко сексуальный. Когда я стояла возле него на уроке, скажу честно, меня прямо колотило, потому что от него что-то шло... Какое-то сокрушение. Хотя был он с ленцой, с медлительностью, но его и это не портило. Даже, можно сказать, еще более украшало. Учился он, правду говоря, не очень, но зато если что-то отнести, передвинуть... Конечно, для центрального чтеца в монтаже «В жизни всегда есть место подвигам» он не годился, потому что говорил плоховато, тихо. Для украшения строя – да, для вдохновения девчонок – без сомнения, но самому произносить слова: «Самое дорогое у человека» и так далее... Я так и сказала Людмиле: он не сможет. Но она наморщила лобик и ответила мне: «Как вы не понимаете, Варя? Именно он! Подвиг и смерть именно такого...» «Какая смерть?» – тупо спросила я. «Гипотетическая, – ответила Людка. – Красивые мысли обязаны пропагандировать красивые люди. Не горбуны же...»

Ах мать честная! Какие мы оказались ловкие. Ведь был у нас в школе горбун, был. Витя Вовк. Несчастнейшее существо, насквозь больное. Так вот его «под Людку» забрали в туберкулезный санаторий. Просто вынули из постели и увезли, мать его из благодарности так напилась, что едва не сгорела в своем замечательном доме из ящичной фанеры, который был фантастическим образом прилеплен к кирпичной, бывшей церковной ограде, не взятой никаким тротилом и теперь защищающей «ласточкины гнезда» разных не поддающихся оптимистической классификации людей, которых называли одним четким и твердым словом – «рассадник».

Но это я снова вильнула в сторону.

Тогда же... Красивые мысли должны пропагандировать красивые люди... И что тут возразишь? Разве не так?

Кроме литературного монтажа – это было, конечно, главное событие в нашей жизни – шла и жизнь обыкновенная. Неглавная, так сказать... В октябре у меня день рождения. Устроили выпивон. До Людки на него приглашались наши уборщицы. Они хорошо приходили, с пониманием нашей всеобщей бедности. Стюра покупала свиные копыта, смолила их в том еще, незаасфальтированном дворе гостиницы, и я – хоть все скрывалось, так как готовился сюрприз – знала: будет тугой, как резина, холодец, он же взнос в застолье, и он же подарок. Вера делала селедку «под шубой». Я тоже за неделю знала об этом. Селедка вымачивалась в тазу, а свекла сутки варилась – с перерывами на готовку другой пищи – на керогазе. А Нонна – в ней сказывалась бывшая где-то на дне поповская кровь – делала «хворост». В этот же раз мы все – я, муж, физик с женой, Алевтина – засомневались: сочетаются ли наши соседки с Людкой, которую мы надумали позвать. Марья Ивановна пригласила меня в кабинет, сказала «категорически нет» и вынула из стола серебряные ножи и вилки.

– Пусть это будет пока у вас... Когда к вам придет Людмила Васильевна, то чтоб было по-людски. Как у вас с тарелками, чашками?

– Возьмем в столовке, – сказала я.

Марья Ивановна покачала головой, и на следующий день уже наша завуч, ядовитая старуха «из бывших», принесла коробку с чайным сервизом.

Сейчас подумать – смех. Что скрывали-покрывали? Кровать ведь наша так и осталась без спинок, книги у нас лежали на подоконнике,

стол письменный во время застолий просто ставился посередке, и гуляй не хочу. Но вот же... Конечно, в комнате физика было лучше. У них даже был ковер на стене. И была радиола, и стол обеденный был настоящий, то есть не письменный, а нормальный учительский стол на четырех ножках и с заляпанной чернилами всех цветов столешницей. Но зато была и клеенка, красивая, из Москвы, вся из себя – бежевый с коричневым квадрат. Исходя из клеенки, радиолы и ковра решили мой день рождения справлять у соседей, а техничек не звать.

– Понятное дело, – сказала Стюра, – возьмите копыта. Заварите студень...

* * *

Честно скажу, такого дня рождения у меня больше не было. Пик моей жизни. Чужое серебро и чужой сервиз, а также бежевая клетка чужой клеенки не воспринимались тогда как чужое. Что вы! Наше оптимистически коллективистское сознание все чужое перемалывало в свое, а все свое бросало под ноги товарищам и друзьям. Все было так красиво на фоне ковра машинной работы, что тогда считалось гораздо лучше ручной. Какие руки, какие пальцы могли идти в сравнение с машиной? Пили кагор – церковное вино – и «три семерки» – вино редкое. Людка принесла шампанское, которое от неумелого выковыривания пробки моим бестолковым мужем большей частью ушло в пену, и я подозреваю, этой пеной нас всех унесло в сток. Но тогда мы хохотали над какими-то дурацкими анекдотами. Один так застрял в голове, что никаким кайлом не выбить, а вообще я анекдоты забываю сразу, просто через секунду. Этот же...

Муж жене:

– Сара, ты так раскидываешь во сне ноги, что у тебя когда-нибудь обязательно выпадет печенька.

– Не говори глупостей, Абрам!

Тогда муж решил пошутить над женой. Встав рано утром, он положил ей между ногами говяжью печень. Вечером с бледностью в лице Сара говорит:

– Абрам! Ты был очень прав. Она таки выпала...

– Кто?

– Печень! Ты не представляешь, с каким трудом я втокнула ее назад.

Извиняюсь за анекдот. Примите его для полноты картины того дня.

– Чего вы, девки, так смеялись? – спрашивала на другой день Стюра. – Женщине от смеха обоссаться легко, а на холоде это очень вредно для здоровья.

Объяснять Стюре, что мы смеялись в тепле, – бесполезно. Стюру замело в школьные технички с магнитогорских котлованов, и, навсегда прибитая тяжестью носилок, холодом и мукой тех лет, Стюра учила нас, «дурных училок»: «Ты хоть в чем иди, а чтоб штаны были у тебя теплые. На фельдикосы – плюнь, а уж если, уж если очень хочется пофорсить, на мотню все равно подшей баечку. Ничо! Ничо! Свой мужик поймет, а чужой... Чужой всегда торопится, он в бешеной скорости находится – не заметит. А заметит? И что? Надо гордой быть. Не реагировать... Плюнь! Нижнее здоровье для бабы важнее».

Это тоже для полноты картины. А по сюжету...

Неумолимо приближались октябрьские праздники, а значит, участились репетиции монтажа «В жизни всегда есть место подвигам». Как сказала бы моя покойная бабушка, мы все, вся школа, «встали ради этого чертова монтажа раком». У Людочки, как у режиссера, требования были очень строгие, но каждый день разные. То все у нее стояли по линеечке, то с опасностью поломки ног и рук громоздились на табуретки, то все, как один, изображали из себя сноп не сноп, пушку не пушку, что-то торчащее резко вверх, то вообще сидели вольно и вразброс, как на фотокарточке «Станиславский с актерами МХАТа». Неизменным оставалось одно: Володя Невзоров всегда был в центре. Я просто шкурой чувствовала – я ведь уже говорила, как я на него реагировала, – Володя потихоньку зверел. Ему этот монтаж был нужен как не знаю что... Я уже теперь, задним умом, понимаю, что он был первый в моей жизни человек по природе своей вольный. Он ходил на репетиции просто по хорошему нраву, обидеть не хотел, но его с души воротило это мероприятие, и чем дальше, тем больше.

А Людочка распалаялась и распалаялась. Взяла на ум репетировать с ним индивидуально. «Самое дорогое у человека...» – учила она его, даже не подозревая, что в это самое дорогое она влезла, можно сказать,

ногами и топчется, топчется, но – Боже! – кто из нас тогда это понимал? Внедрение, вторжение друг в друга было нормой. А ну-ка распахнись! Я в тебе, в нутре твоём теплом посижу, покурю, поплюю маленько...

В общем, Володя мой Невзоров не выдержал всего этого и перестал ходить в школу. День нет, второй... Ну что он там алгебру пропускает – никому не интересно, а вот репетиции... Подставляли в монтаж других мальчиков, были у нас и горластые, и красивые, и с интонацией, но Людочка кричала, даже топала ногами, подайте ей для подвига Невзорова. И никого другого. Побежала я к нему домой. Он как раз воду нес из колонки. Раз несет две огромные цинковые бадьи – значит, здоровый? Я ему сразу и выдала форте! И вот он – красавец, богатырь, картина, а не парень – мне, молоденькой учительнице, которая возле его парты замирала от восторга или там чего еще другого, говорит, и пусть Бог его простит:

– У меня, Варвара Алексеевна, расстройство желудка. – Ему бы остановиться, а он добавил: – Понос.

Не могу сказать, что со мной сделалось. Тут надо обязательно сказать, что нас всех воспитывали так, будто в уборную мы не ходим. Это сейчас с этим просто. «Где у вас?» И воду спускают громко, во весь напор. Мы же... Мы же этого стеснялись как не знаю чего... Я уже теперь думаю... как это сочеталось с коммунальным бытом? С грязными «скворечниками», которые рыли отнюдь не подальше от глаз, а, наоборот, прямо посередке двора, а двери – бывало – забывали навесить и просто ставили рядом, мол, кому надо, сам ее перед собой подержит. И вот барышни, сходяв таким образом, уже через секунду делали вид, что они тут рядом чисто случайно, что они в это уродище с дыркой ни ногой, и так далее, и так далее... Господи! Какие вывернутые мы были люди! Все это я говорю для того, чтобы было понятно: сказать «у меня понос» было верхом неприличия. Тем более учительнице. Тем более молоденькой. Тем более будучи красивым парнем.

Теперь я понимаю: Володя нарывался, чтоб отбиться от меня, монтажа, Людки, репетиций.

Что сделала я?

Я стала орать на всю улицу: «Ты не имеешь права! Где твоя комсомольская совесть?! Ты подводишь школу! Не забывай, тебе

получать характеристику!»

Как сейчас вижу. Вода в бадьях стояла черная-черная и хлоп, хлоп об стенки. Снег с неба срывался мертвый, редкий, осенний, и полоумные снежинки погибали в черной воде с таким беззвучием, с такой обреченностью, как будто в других параллелях они тоже хотели что-то доказать. Я тут своим криком, а они там безмолвием.

Поднял центральной октябрьского монтажа комсомолец-десятиклассник Владимир Невзоров ведра, плеснул из них мне под ноги холодной водички, брызнул колючим на мои колени и пошел.

Осталась я с открытым учительским ртом. Пар из него шел. Все-таки уже холодно становилось. У нас вообще осень наступала как-то сразу. Бегаешь с рукавами три четверти, в босоножках и с кофтой на плечах, а смотришь, тебе уже навстречу прутся «румынки». И «кубанки». Зимние предметы.

Я так была возмущена этой встречей, что никому про нее не рассказала. Мне казалось – я в ней выгляжу очень неудачно, ну кто ж про себя плохое – другим? И даже виделось мне в этой встрече женское оскорбление – он от меня повернул, а не я. Опять же... Мы в наше время очень блюли, кто первый заговорил или замолчал, кто первый протянул руку или там головой кивнул. С этим было строго. А уж свое женское самолюбие... Это мы тешили изо всей силы. Подать там пальто, уступить место – у! Как мы за этим следили... Казалось бы... А сволочей миру дали много... Очень...

Я пережила эту историю с Володей тайком, и в результате и случилось все дальнейшее.

Малахольная Людка, которая в своей жизни передвигалась только по гипотенузе двора, цок-цок-цок каблучками из гостиницы по гладкому асфальту и в нашу дверь, на дорожку под белый плафон. Вот и все ее знание жизни. Ну Стюра мелькнет грязной юбкой, ну пахнет на нее суточными кислыми щами, ну ненароком наши физики-химики неудачно будут травить клопов в панцирной сетке, и тогда этот запах жизни и борьбы обвеет ее, и Людочку нашу всю аж скривит. Однажды она застала у нас Алевтину, которая провела свою счастливую ночь под батареей. Алевтина стояла у керогаза и что-то над ним сушила и была благодарна судьбе, которая столько ей предоставила удобств сразу, и проходящей Людочке она улыбнулась широко, радостно, как человек всесторонне удачливый, вот, мол, постирала и сушу. Хорошо-то как на

живом огне и в то же время в помещении. Не то что древние люди или в закутке чужого дома, где сушить можно только на спинке кровати, жди, когда высохнет!

Так вот Людочка от всего этого приходила в ужас. Она мне как-то прямо сказала:

– Неужели нельзя жить красиво и благородно? Почему у вас клопы? Почему ты берешь сковородку у техничек? Почему Алевтина спит у вас под батареей?

Разве на эти вопросы были правильные ответы?

Мы ночью выбивали дорожку, по которой ступала Людка, а однажды на место наших керогазов был водворен огромный фикус в деревянной кадке, и Марья Ивановна – фикус был из ее кабинета – собственноручно протерла чистой вехоткой каждый лист, благо их было немного. Фикус уже слегка помирал от старости, стебли имел подагрически-могилостые, но в керогазном углу его бутылочные матовые ладони еще выглядели вполне внушительно. Кадку обернули белой гофрированной бумагой. Завистница Алевтина просто зашла от красоты.

Керогазы пришлось внести в комнаты. Все это совпало с беременностями – моей и химички. Мы с ней подзалетели почти день в день. В конце августа. В отпуске. Так вот я – здоровый организм – ничего. Внос керогаза в комнату пережила спокойно. Мне даже нравился его запах. Я и запах бензина любила. Когда машина отъезжала, это мне было лучше «Красной Москвы». А вот у химички – казалось бы, ей ко всему привыкнуть, у нее препараты и реактивы в образе жизни, – так вот у нее от керогаза начались рвоты, муж пошел войной на фикус, старец-фикус, естественно, победил, а Алевтина сказала: «Вам еще и обижаться. И претензии предъявлять».

* * *

Пока мы туда-сюда обсуждали наши женские интимные дела и важно носили анализы в консультацию, Людочка высмотрела адрес Володи Невзорова в школьном журнале, надела свое пальто из буклированной ткани под названием «мими», водрузила на головку шляпку типа «феска» с муаровым бантом сзади, всунула ножки в

прюнелевые туфельки, а туфельки в черные ботинки – сообразила, умница, что может попасть в грязь, – бежевый шарфик под горлышком кончиком выставила и потопала, радость наша, выяснять отношения с прогульщиком. Что бы за ней уследить! Что бы! Тем более что многие видели, как она шла. Тогда многие оглянулись и посмотрели ей вслед, – было на что! – и те, кто знал, чья она, передавали это по цепочке, и восхищение ее движением по улице – как простой человек! – само по себе умножалось и набирало консистенцию и силу, потому что – что там говорить? – мы такой народ... Мы умеем восхищаться до спазмов. Это нам дай! Как сказал кто-то – не помню уже, – и ненавидим мы, и любим мы случайно. Как собаки, одним словом.

* * *

Дальше идет рассказ про то, что я своими глазами не видела и никто не видел. Было всего три действующих лица. Володя, Людочка и продавщица галантереи Райка Колесникова. Володя прогуливал, Райка была выходная, в те времена промтоварные магазины по понедельникам были закрыты. Дети в школе, а старики – холодно было – носа не казали.

Я столько раз мысленно прошла ее путь в черных резиновых коротеньких ботинках, что, можно сказать, я это пережила. Из гостиницы она повернула налево, мимо Доски почета, что у входа в сквер, а потом шла по скверу имени Кирова, где разлапистые лавочки имелись в нужном количестве, а кусты подрезались художественно, ведь сквер вел напрямиком в обком, поэтому порядок тут блюли, это точно. Потом ей пришлось резко повернуть вправо мимо газетного киоска, перейти трамвайную линию, войти в арку самого красивого в нашем городе дома – работников НКВД, пройти сквозь двор с песочницами и с качелями (мы, беременные, мечтали с химичкой, что именно там будем выгуливать наших младенцев во время декретного двухмесячного отпуска), выйти на другую улицу, которая замечательно называлась – Красная и вся состояла из красных крашенных деревянных бараков. Надо было обогнуть парадный, смотрящий на улицу барак и войти в барачий двор, где через тридцать метров стояла

та самая водоразборная колонка, куда ходил Володя. Дальше уже можно идти по его следам. Пройти сбившиеся в кучу сарайки, пройти по мосточку, что был переброшен над траншеей с трубами для будущей счастливой жизни, обойти двухместное сооружение для грубых дел и напрямик воткнешься в барак, первым этажом по самые окна вросший в землю.

Тут все и проистекло.

Людочка толкнула обитую мешковиной дверь и оказалась в темном коридоре, в котором густо пахло кипяченым бельем. Дело в том, что мать Володи прирабатывала стиркой. Огромная выварка белья стояла у них на печке постоянно. На стиральной доске в корыте, распластавшись, всегда лежали то простыня, то рубашка, и мыло всегда было мокрым, потому что – случалось – и Володя тер им какой-нибудь особенно замусоленный воротник, и мать тогда говорила:

– Ниче, сына, ниче... Это не самое страшное. Есть работы пострашнее. На бойне, например... Или в шахте... Не жмакай матерью, не жмакай. Волокно надо как раз распрямить и по самой прямой пройтись мылом... Оно и подчинится... А еще есть профессия, что людей стреляют. Мне бы тыщу дали – не пошла бы. И ты, смотри, не ходи. Мало ли что... Сговаривать начнут как комсомольца.

Я знала, что она говорит сыну, потому что, когда она мне стирала байковое одеяло, она поинтересовалась: правильно ли она его направляет мимо бойни, мимо шахты и мимо стреляющих в людей, откуда, мол, ей знать, безграмотной, может, теперь другие понятия? Конечно, главное – институт, и она, конечно, для такого дела расшибется, но ведь всяко может быть? Всяко. Тогда как? Взять ту же бойню...

Нашла у кого спросить! Я тогда ручонками на нее замахала, затарахтела что-то о безграничности открывающихся высот, широт, а также и глубин. Я сулила ее сыну какое-то необыкновенное будущее – главного начальника всех шоссейных дорог, например, или директора металлургического комбината. Прачке нравились мои фантазии – еще бы! Она только беспокоилась, хватит ли у него ума «с людьми»? Да, говорила я, да, характер надо бы воспитывать, вот он чурается общественной работы, а это очень важно.

– Вы ему сами скажите, – говорила прачка. – Я этих ваших слов не знаю.

Так вот Людочка вдохнула запах стирки, попривыкла к темноте и стала разглядывать на дверях нарисованные краской номера. И вот пока она соображала, слева или справа от шестого номера искать седьмой, она услышала смех. За одной из дверей было весело и шла интересная жизнь.

– Не распускай лапы, – счастливо кричала женщина. – Дай человеку закусить. Я не поем – буйная стану... А ты силу копи, копи... Напрягайся! В школу не ходить, а баб лапать – это и без ума можно. А я, Володя, ум уважаю. Я его раньше красоты и силы ставлю. Очень жалею, что сама его не имею... Одна красота! – Вместе с хохотом что-то завалилось и брякнуло, шум пошел совершенно специфический, как будто кто-то тащил живое и тяжелое, и живое выскальзывало, и тогда тот, кто тащил, повторял: «Ну я тебя... Ну я тебя...»

Представим себе ситуацию: ты полный идиот. Как говорил один мой знакомый, ж...у от пальца тебе не отличить. От природы. В этом случае вполне можно войти в этот момент в комнату и задать вопрос: «Скажите, я правильно иду в Новосибирск?» или «Я так напрямик попаду в Клайпеду?»

Людочка открыла дверь и спросила:

– Невзоров, чем вы здесь занимаетесь?

Живое и тяжелое, то, что было Раей Колесниковой, имело быстрые реакции. Живое заслонило потерявшего соображение (по совокупности причин) Володю Невзорова и спросило хорошим магазинным голосом:

– Ой! Ой! Кто к нам пришел! Такие гости! Не выпьете ли с нами портвейну, у нас не допито...

Опять же! Представим, что ты идиот и не можешь отличить одно от другого. Божий дар и яичницу.

– Вы ответите за свое поведение, – сказала им Людочка.

Когда я говорю об идиотах, я не только ее имею в виду. Я имею в виду всех нас, а Райку в первую очередь, потому что именно она словам Людочки значения не придала. Никакого!

Райка (где она, бедолага? Где? Раиса Колесникова! Откликнись! Вы сейчас уже старенькая, если живая, конечно. Смотрите, наверное, телевизор. Так что смогли увидеть ту, что я увидела. Или?), так вот

Райка тогда захохотала нагло так в лицо Людочке и пошла на нее всем своим не до конца раздетым телом. Она ее выдавливала со своей территории и все норовила так идти, чтоб Людочке так и не увидеть пребывающего в прострации Володю, который полусидел на краешке пышной Райкиной кровати, как бы прощаясь сразу со всем. Это он мне потом сказал. «Я, говорит, понял, что тут моя жизнь закончилась. Надо рвать когти, и подальше».

А Людочка – причуда жизни – тянула к нему руки. Это, видимо, получилось у нее непроизвольно, потому что по протянутым рукам Райка и ударила ее своей крепенькой лапой, и не от боли, а от оскорбления Людочка наконец сообразила, что ей уйти было бы правильней, чем оставаться.

– Ну, знаешь, – сказала Райка, – нечего на молоденького пасть открывать. Не тому вас в институтах профессора учили, чтоб за учениками бегать... Придумала тоже репетиции, а сама все к телу жмешься... Все ж знают!

Вот тут эффект всеобщей идиотии кончился, Людочка, красная как рак, выскочила на улицу Красную. Удвоение цвета придало ей прыти, и эта самая прыть понесла ее не в девичью подушку, чтоб обрыдаться-обслезиться, не к нам, например, чтоб в гневе высказать все, что она думает, а по скверу в обком, где все всё поняли правильно, и наша школа после этого просуществовала ровно одиннадцать дней. И ни минуты больше. На нас подули – фу! – и нас не стало. Здание наше – оказывается! – понадобилось до зарезу партшколе. Уже на другой день сновали по коридорам какие-то люди с рулетками, ножичком поддевали классные вывески, и эти последние громко бряцали об пол. Мы в классах вздрагивали и замолкали, потому что все попали в полосу творимого руками, отвертками абсурда и у всех у нас, даже у самых умных, слова в горле застряли. А те, у кого они оказались, у Алевтины например, те говорили прямо, грубо и справедливо:

– Заелись все очень. Ополоумели от хорошей жизни и уже не знают, чего хотят. Уже некоторым керогазы воняют.

Короче, школу расформировали, нас, школьных жильцов, естественно, выперли, пошли мы с химичкой на аборт, а куда же еще? Людочка в школе больше не появилась, мусорные баки вернулись во двор, ковровую дорожку свернули и поставили на ней инвентарный

номер уже новые хозяева. Фикус выкинули, и он долго и гордо умирал в белой гофрированной бумаге возле помоек.

Марья Ивановна пересчитала свое серебро и недосчиталась ложки. «А! Черт с ней! – сказала она. – Это наверняка покойница Опора».

Техничек, кстати, оставили на месте, даже более того – отдали им нашу площадь. Я у них немного пожила, все ждала новостей от мужа, который уехал искать работу на свою родину, в Ростов. Через какое-то время я узнала, что ему очень повезло в жизни. Он нашел и работу, и квартиру, прикладом к этому, правда, была женщина-врач на одиннадцать лет его старше с взрослым сыном, но если учесть, что учителя квартиры не получают никогда, а дети, пока родятся, могут и погибнуть, то получить сразу все – это удача. Честно! А что такое одиннадцать лет разницы. При хорошей жизни ровно ничего, а плохую он уже не хотел. Он ведь дожил почти до тридцати лет и так не сумел купить спинку для кровати. Факт? Факт! Подружки мои, технички, заходились насчет мужского предательства, вот, мол, какой пошел мужик балованный. Не то что раньше, до войны, когда с любой женой жили, с красивой, некрасивой, одетой, раздетой, понятие было, какая выпала, ту и носи. А сейчас... И тут бабоньки мои начинали хихикать, потому что им сейчас как раз было очень хорошо. Партшкола – это не просто школа. Это солидно. Это всегда курево и выпивка. И всегда, всегда есть такие студенты из деревни, которые не гнушаются их профессии. Опять же гарантия в смысле болезней. Парт-школьников хорошо проверяют, это тебе не стройка или даже армия. Там всякое случается. Деревенские же мужики осторожны в обращении, и сила в них есть, которую одним стаканом водки не убьешь. Что для жизни немаловажно.

Круто вверх пошла Алевтина, которая – бедняга! А что ей оставалось делать со своей пионерской черной дырой? Где надо, очень поддержала расформирование нашей школы как таковой. И контингента, мол, нам не хватало (помните, мы перед Людочкой проводили профилактическую чистку? Вот детей нам и недосчитали. Справедливо, между прочим), и не было у нас идейного коллектива, а были просто компании, которые выпивали прямо в школе. То, что мы прямо в школе жили, Алевтинушка наша в речи упускала. В конце концов, от зависти и бедности может родиться только монстр. Это мое

сегодняшнее знание. Алевтина ушла в комсомольские работники, большой карьеры не сделала, но квартиру с отдельной батареей получила, говорят, стала скупать хрусталь. Я помню, как она у нас ела пальцами: «Так же вкуснее, что вы!» – и вытирала пальцы о столешницу, туда-сюда, туда-сюда.

У меня же все в жизни завалилось набок. Одно счастье – никого я собой не придавила. В пятьдесят седьмом, когда меня щепкой носило туда-сюда, прибилась я на фестиваль в Москву. Память была хорошая, московский телефон Людочки, который она заказывала при нас в гостинице, в голове сидел. Набрала.

– Большого кошмара, чем ваша школа, в жизни не встречала. – Это она мне после «здравствуй» и закричала: – Дай мне это забыть! Дай забыть!

Получалось, что я же и виноватая, не даю забыть человеку кошмар.

Напоследок она мне пожелала успеха в работе, труде и производственной деятельности.

* * *

Чего я запалилась? Чего? Я давно все про эту жизнь знаю. Мне уже даже больше интересно про ту, которая при моей печени не за горами. И передачу я эту по телевизору смотреть стала, потому что до нее выступал симпатичный поп. Мне нравится, когда они говорят, у них каждое слово как в водичке омытое, и то же самое – а вроде как другое. Ну я и уставилась, думаю, хорошо бы, мол, меня отпели. И тут – бац! Теплоход. И на весь экран – Людка. Вся аж блестит от здоровья, счастья и благополучия. И так ее крупно дают, потому что, как выясняется, она главная в нашем советском милосердии. Всем, кому оно нужно, надлежит идти напрямик к ней, а она нам его будет отламывать по мере нашей с вами необходимости. Этого милосердия у нее навалом. Бери – не хочу. Всем хватит и останется.

Вот тогда я все и вспомнила... И еще деталь! Она строго выговаривала Марье Ивановне, что нельзя ходить в школу в некрасивой обуви. Мальчиковой и разлапистой, что женщине-директору личит лодочка на венском каблуке. Марья Ивановна влезла

в лодочку, вздыбила ее своими мозолями, а однажды пришла к нам домой и попросила тазик. Опустив распухшие ноги в воду, она плакала и говорила, что где-то делают операции с костями, но где? И успеть ли ей за каникулы? И выдержит ли сердце? А я презирала ее. За белые распаренные пальцы с длинными, отстающими от мякоти панцирными ногтями, у которых было явное намерение отделиться от ног и всплыть куда-то к чертовой матери подальше. Такое у них было выражение лица. (А почему это, по-вашему, у ногтей не может быть выражения лица?) За полированные двугорбые, стыдящиеся себя косточки, за эти ее мелкие, жалкие, быстрые слезы, недостойные советского учителя. В конце концов! Нельзя же так распускаться. Я лично никогда в жизни не допущу костей и мясов, потому что человек – это звучит гордо, а не как-нибудь иначе... И я сказала своему мужу, который тогда еще рассчитывал, что жизнь наша станет лучше естественным путем, посредством спинок, этажерок и нержавеющей вилок: «Люда мне на многое открыла глаза. Мы здесь погрязаем и не ценим время и место своего рождения. А ведь могло случиться несчастье, и мы родились бы в Америке. Ты задумывался, что такое Россия? Это рос-сияние. Ты чувствуешь? Как точно... Я теперь на всю жизнь... На всю жизнь...» Муж мой молчал. Он был при деле. Он штопал мотню своих единственных штанов. Из рта его торчит кончик мокрого языка. Он для слюнения нитки, чтоб запихнуть ее в игольное ушко. Откусывать нитки он не может и отрезает их ножницами, и это меня безумно раздражает.

– А кто, по-твоему, выше – Бабаевский или Бубеннов?

Муж молчит. Мотня – дело серьезное. Это вам не философия. А мне-то хочется слов! Мне их мало!

Живая Стюра материт в коридоре фикус.

– Распялся, зараза... Вот ошпарю тебя кипятком, не зарадуешься... Украшение е... твою мать. Ковров накидали... И!!! Чтоб вас всех...

* * *

Рос-сияние... Ну пусть. Мне-то что? Может, и так... А может, и рож-сияние...

Забыла – вспомнила.

Привет, Люда! Милосердная ты наша! Как мы тогда выносили свои вещи. Кроватные спинки... Панцирные сетки... Как Марья Ивановна ходила и собирала по школе мелки в цинковое ведро.

Да! Еще такая мелочь. За Людкой присылали самолет. В гостинице от нее осталась пудреница. Я почему знаю? До меня ведь тогда ничего толком не дошло. Я ведь искренне считала, что безобразное поведение Невзорова и Колесниковой требовало сурового наказания... На последнем нашем педсовете я кричала: «Позор!». Потом побежала в гостиницу, казалось естественным бежать именно к Людочке. Такое рос-сияние... А она, оказывается, уже уехала. За ней приезжали черные машины. Горничная держала в руках пудреницу. Она решила, что я – за ней. Пудреницей. У меня был вид очень уж запышливый. «Нате! – сказала горничная. – Забыто было. Никто и не польстился».

Я долго таскала пудреницу в сумочке, потом она куда-то делась.

Да здравствует наше милосердие – лучшее милосердие в мире!

...А я сейчас еще выпью. Чокнусь с телевизором – и вперед. За тебя, Людка! Милосердствуй! Перестройка необратима! Мы не можем ждать милостей от природы! Самое дорогое у человека – это выпивка. Она дается ему, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое. Чтобы, умирая, мог сказать, что все силы были отданы... Володя! Встань в центр. Поставь ручку в жест... Укажи будто бы путь... Сделай лицо как для смерти за идею... Чтоб светилось, чтоб как праздник. Как сияние... Рож сияние...

Так тебе и надо, дура...